



Алесь Адамович

С ЧЕГО ПОШЛА, НАЧИНАЛАСЬ
«БЛОКАДНАЯ КНИГА»

Получилось как-то само собой. Хотя теперь, когда работа сделана, начинаешь думать, что были, были какие-то невидимые, но сильные токи — от Хатыней к блокадным ленинградским трагедиям — и что токи эти, импульсы, как раз и направляли мысли и намерения одного из авторов книги о Хатынях — направляли на Ленинград.

На Даниила Гранина вышел, когда решил этим заняться сам. Потому что сначала об этом не думал, лишь хотелось поджечь той работой, что проделана была в Белоруссии, чей-то энтузиазм в Ленинграде. А ты тут при чем и кто тебя просил, просит? Понимаю, что это так, сам над собой издевался, однако что-то заставляло. И не что-то, а именно то, что война была на всех одна <...>. Кроме того, внутренний гул от долгой работы над книгой «Я из огненной деревни...» все еще продолжался и, может быть, тоже подталкивал, требовал какого-то продолжения... Тем более что во мне уже жило несколько ленинградских историй, таких же пронзительных и мучительных, как наши хатынские. И услышал я их, кстати, от Галины Максимовны Горецкой, дочери классика нашей литературы Максима Горьцкого, когда ездил в Ленинград к семье писателя — писал книгу о его трагической судьбе и замечательных произведениях. Вон сколько случайностей, и как тем не менее все выглядит закономерно связанным с «Блокадной книгой»: трагедии наши вели, привели поиск к ленинградским, потому,

очевидно, что они, трагедии века, как подземные реки, связаны, сливаются. <...>

Я много читал о Ленинградской блокаде, но сердцем понял, как себя чувствовал там человек, лишь после этих простеньких историй, услышанных, как я уже говорил, от Галины Максимовны Горецкой.

И я их пересказал аудитории — после таких же, хатынских, — на одном из заседаний, собранном в Москве тогдашним председателем бюро по публицистике и очерку Константином Михайловичем Симоновым. (Кажется, в 1971 или в 1972 году.) Пересказал, чтобы сообщить о книге «Я из огненной деревни...», которую мы, белорусы, делаем, и одновременно узнать, делают ли что-либо похожее ленинградцы. Ведь это рядом стоит: трагедия деревень и города в современной тотальной войне. Кто-то из ленинградцев подходил, говорили об этом, обсуждали.

Но не слышно было, чтобы кто-то взялся, и когда мне пришлось (уже в 1974 году) быть у Федора Абрамова, я сделал попытку ему навязать эту работу.

«Там у меня крестьянский сундук стоит — вот кто хозяин моего времени! — пожаловался Федор Александрович. — Пока не доберусь до дна».

Но тут же сообщил, что заполняется сундук быстрее, нежели опорожняется. Каждое лето писатель сидит, живет в своей Верколе, в Пинежском районе — рядом с Пряслиными и другими героями будущих книг о судьбах русской деревни.

Только после этого я осмелился подумать, что, видимо, сам буду делать книгу о Ленинградской блокаде, подобную нашей «Огненной деревне». Конечно, в соавторстве с кем-либо из ленинградцев. <...> Ближе других ленинградцев знал Даниила Гранина, но больше заочно — по произведениям его, превосходным эссе и через короткую переписку (как раз по поводу его эссе о Пушкине и Булгарине).

Написал ему о нашей белорусской книге, о том, как вижу ленинградскую. Даниил Александрович сразу отозвался: да, все верно, но где найти время на такую работу? Время — с этой категорией бытия у Гранина отношения самые

строгие. (Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанности, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной — в буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, человека, что эта работа — для него лично и вообще — самая важная, главная. Тем более что он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться писатель? Она скорее журналистская».

— Но хотите, я найду вам толковых соавторов?

И мы собрались на квартире Даниила Александровича: кроме нас — еще трое. Хозяин, как бы подчеркивая важность «исторического момента», щелкнул клавишей магнитофона, включил:

— Ну, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи.

Я — все сначала: о нашей белорусской книге, которая уже частично опубликована в журналах «Октябрь» и «Неман», о том, что блокада ждет.

— А вы читали книги о блокаде? — строго и недоверчиво спросили меня. — Или хотя бы знаете, сколько их уже написано? И документальных — не десятки, сотни!

И я увидел себя со стороны — глазами тех двух ленинградских журналистов. (О третьем — особый разговор.)

Чудак (если не хуже) забежал в чужой двор, где люди с пеленок живут, и хочет, пытается хозяевам показать, где и что у них есть, зарыто, лежит, стоит...

Столько книг — и хороших — сделано, написано, а он хочет что-то заново открыть, будто нога писательская там не ступала!..

Они были по-своему правы, видимо, не сумел, не удалось мне убедить, что книга — хотя и действительно много уже написано — не будет лишь повторением или даже дополнением, а чем-то совершенно иным. И не благодаря нашей гениальности, а потому лишь, что начнем с самого простого и сделаем самое простое: дадим, позволим, нако-

нец, выговориться самой блокаде, собственным голосом выговориться, выкричаться, выплакаться...

Из троих лишь один ленинградец понял, о чем речь, но и он вынужден был отказаться:

— Я взялся бы, но ведь это такое трудоемкое дело, а на мне целое издательство!..

Когда гости ушли, хозяин, на глазах у которого я столь сокрушительно провалился со своими «идеями», видимо, пожалел меня. (Тем более что и его миссия — сосватать мне соавторов — тоже потерпела крах.)

— Ну, раз так, возьмусь я!..

Назавтра мы поехали записывать первого блокадника. 5 апреля 1975 года — это я хорошо помню. Куда-то на улицу Шелгунова, по адресу, который мне дала все она же, Галина Максимовна Горецкая. Блокадную историю ее знакомой я уже знал в пересказе и рассчитывал, во всяком случае хотел, чтобы и Даниила Александровича сразу «зацепило и потащило». Хотя и знал (по прежнему опыту), что нужно набраться терпения, и тогда из 10—12 рассказов-воспоминаний одно получите потрясающее. Но здесь мне хотелось, чтобы сразу же услышать, записать именно такое...

Чуда, к сожалению, не произошло. И действительно, лишь десятая или одиннадцатая ленинградка нам рассказала такое и так, что сразу открылся нам уровень правды, безоглядной искренности, трагизма, который «сделает книгу». Это — рассказ бывшего командира «группы самообороны», жактовского коменданта «жилых объектов» — Дмитриевой. Той самой, о которой в первой части «Блокадной книги» мы не могли не написать: «Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна».

Не буду подробно рассказывать, как мы — вдвоем или каждый из нас самостоятельно — искали адреса блокадников, телефоны, ездили, ходили, знакомились, спрашивали, записывали. От человека к человеку, от квартиры на одном конце огромного города к дому, квартире — на другом. Всякое бывало. На какой-нибудь бесконечной улице Бассейной, где и дома не нашел, и того блокадника не повидал, вдруг посмотришь на самого себя со стороны —

да так ясно увидишь себя с чемоданчиком-магнитофоном в том вечернем «петербургском» тумане! — и какой-то смех дурацкий: «Зачем ты здесь? Почему именно ты? И кому это надо?»

А конца дела не видно, и будет ли какой-либо результат? Все больше нам открывалась и пугала невозможность что-то целостное выстроить из того, что у нас на магнитных лентах и что наша стенографистка-машинистка Софья Сергеевна Локшин переносила на бумагу. (Она, наша самоотверженная помощница, которая и сама прошла через блокаду, так и не увидела работу в печати — мы ее потеряли на полпути.)

Чем больше записано воспоминаний, чем больше в руках у нас дневников, тем сильнее ощущение, что мы от своей цели дальше, чем в тот апрельский день 1975 года, когда затевали работу. Воспоминания по 50 и по 100 страниц каждое — сотни таких рассказов-воспоминаний, записей, дневников — целая гора, но как с этим выйти к читателю, как сделать то, что можно взять в руки и читать. Мучительно хотелось сделать работу, чтобы освободиться быстрее, вырваться. Вот где я, кажется, был готов согласиться с ненавистным мне краснобаем Заратустрой: если ты смотришь в пропасть, то и она смотрит тебе в душу!..

А нам уже открылась пропасть — массовый голод во всей его блокадной беспощадной реальности, правде.

Я все ездил в Ленинград, квартира Даниила Александровича и Риммы Михайловны на улице Братьев Васильевых (Малая Посадская ул. — Н. А.) — наш «штаб», куда все больше нитей стягивается, сходится. Столько, что уже и запутаться можно. Хорошо, что и здесь у нас есть женские руки и аккуратность женская — Риммы Михайловны. О нашей работе уже прослышали, уже звонят, пишут нам, сами ищут нас, и тут уже не отступишься, даже если бы захотел. Он ничего так не просил, ленинградец-блокадник, не требовал, не хотел для себя — хотя нужда была в помощи, и не раз, в послевоенные годы, — как здесь вдруг провалось. Не просьба что-то дать ему, а взять, взять, взять у него — всю правду!

«Горько и обидно иногда слышать: „Ха, блокадники. Хорошо, значит, жили, если до сих пор живы. Настоящие блокадники давным-давно на Пискаревке лежат”».

И еще один деятель в юридической консультации мне сказал: «Что такое блокадники? Такого слова теперь нет. Есть словосочетание — „люди, пережившие блокаду”».

<...> Когда ухо, когда сознание настроено все время на одну волну, блокадника услышишь, разгадаешь и далеко от Ленинграда. Сколько я их нашел в поезде Минск — Ленинград, который изрядно обжил за годы с 1975-го по 1981-й.

Или вот такой случай: старая женщина-минчанка все время занята тем, что находит, собирает и кормит на улице, во дворе, бездомных котов, собак (или хотя бы голубей) — сцена не такая уж редкая или удивительная. Но неожиданные слова ее меня заставили внутренне сжаться: «Я не могу видеть голодных. Я была в Ленинграде...»

Была в блокадном Ленинграде, это на всю жизнь.

Я все ездил в Ленинград, изучил его улицы и кварталы, возможно, как редко кто из коренных жителей: не всякому ленинградцу необходимо знать, где там эта улица Солдата Корзуна или Бассейная.

Найдешь улицу, дом и, если ты один и не объяснил по телефону, спешишь сказать: «Вот мы с Граниным... Вы же Гранина знаете?..» Это — чтобы не объяснять долго, кто ты и зачем, почему здесь оказался, чтобы долго не выпрашивать доверие к себе. «Даниил Гранин... Мы с Граниным...» — срабатывало как пароль. <...>

Так что если иногда и один ходил по Ленинграду, то тоже, как видите, с Граниным.

А с материалом — чем больше его набиралось, копилось, тем больше не хватало. Слишком много — чтобы напечатать как есть, и слишком мало — чтобы нам главное открылось, самим стала ведома общая нашего произведения идея.

Чего ради, зачем мы потревожили, собираем блокадную память, кажется, знаем. Чтобы не упустить, не потерять

навсегда народную правду о трагических и героических 900 днях Ленинграда, всю правду о войне. Чтобы дать выговориться, выкричатся памяти о невыносимом блокадном голоде, о муках, потерях и героизме людей, спасавших цивилизацию от фашистского варварства. И чтобы еще раз проклясть войну — этого «железного зверя», говоря словами белорусского классика Кузьмы Чорного, от которого столько веков, тысячелетий людям покоя нет...

Все это так, но и жанр наш, как и всякое произведение, требует сверхидеи, сверхцели. Не той, которую навязывают материалу или привязывают к нему, а которая открывается в самом материале и через него, если долго всматриваться.

Мы всматривались, искали — пока действительно не открылось: а, вот мы о чем!

Это не сразу пришло. Спорили, что удерживало и удержало рядового ленинградца на такой гордой и трудной высоте солдатского и человеческого поведения? Ленинградцы умирали, но умирали с каким-то особенным достоинством, не оценит которое лишь тот, кто не прочувствовал всю меру, бездну испытаний, выпавших на их долю.

Фашистские фюреры рассчитывали, что «Ленинград выжрет самого себя» — так и кричали, и писали, потому что танкам их не удалось, но голод уже ворвался в Ленинград. А вместе с голодом и то, что, по их расчетам, должно было ленинградца превратить в безвольное, ко всему равнодушное существо. «Голод — наш союзник!» — радовались и мстительно ждали момента, когда в городе все поползет по швам, потому что не выдержит сам человек, «расползется»... <...>

Чем больше мы слушали самих ленинградцев, изучали документы, читали дневники, тем яснее нам открывалась одна из главных опор того самого «духа ленинградцев».

Что Ленинград — один из самых культурных городов в мире, кто об этом не знает. Что это город-интеллигент и по культурным традициям, и по насыщенности музеями, библиотеками, научными учреждениями, а главное — по культуре, облику самих горожан, по их взаимоотношениям

и отношению к тем, кто приезжает в Ленинград, — также давно считается общепризнанным. <...>

Все это так, и все, оказывается, имеет не только прямое, непосредственное отношение к легендарной стойкости ленинградцев во время блокады, но и может объяснить многочисленные конкретные ситуации и судьбы, с которыми мы сталкивались во время работы над «Блокадной книгой». Например, те же «подневные записки» блокадника Г. А. Князева или дневник Юры Рябинкина: как точно они документируют движение человека к состоянию, когда голод уже способен отобрать, действительно «сожрать» и силы, и волю, и совесть, и саму способность сопротивляться гибели. Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не умереть, а тем более остаться прежним человеком — кем ты был всегда. Но нечто все равно человека держит, поддерживает, не позволяет переступить «за черту», где распад всего, «моральная дистрофия». И это нечто — может быть, как раз и есть то, что не было учтено фашистами, хотя они все остальное (достаточно точно) подсчитали и высчитали: сколько может продержаться в лютые морозы четырехмиллионное население, если в городе нет значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды...

Ленинград блокадный о многом поведал миру: и о нечеловеческом облике фашизма, который голод избрал своим союзником, средством террора против мирного населения, и о том, что способен перенести и перед чем смог устоять народ, когда решался вопрос жизни и смерти Родины, сражающейся за человеческое будущее.

<...> Что работа разума, духа, например, спасла Г. А. Князева, а сила, работа любви помогла Лидии Охупкиной (и не одной ей) выжить и спасти детей — когда уже ничто другое помочь им не могло. Одну из глав второй части «Блокадной книги» мы сначала назвали условно «Мальчик-интеллигент». Очевидно, догадываетесь, что мы имели в виду Юру Рябинкина.

Так вот, сверхцель книги, которая необходима, чтобы был не просто памятник прошлому, пережитому, но и жи-

вой контакт с современностью — сверхидея «Блокадной книги» открылась нам и для нас сформулировалась именно в этих словах: внутренняя культура, интеллигентность — сила, а не слабость человека.

...Помню тот день... Я все приезжал в Ленинград — летом и зимой, осенью и весной, — мы уже знакомы были с сотнями жителей города, которые никогда не видели друг друга. Даниил Александрович «свел» меня, познакомил с уголками и местами города, связанными не только с жизнью Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др., но и с судьбой их героев (стоял возле него, знаю даже тот камень, под который Родион Раскольников спрятал деньги, вещи убитой им старухи). У меня уже были свои воспоминания о собственной жизни в этом городе. Но все еще не было ощущения, что город принял меня <...>

Мои к нему — Петербургу, Петрограду, Ленинграду — чувства начало берут не из дня сегодняшнего или вчерашнего, возникли они где-то на десятом году жизни — с первыми не строчками даже, а как бы аккордами Пушкина: «На берегу пустынных волн...»

И вот тот момент, когда все переменялось. (Конечно, во мне самом это произошло, но показалось, что город глянул и вдруг меня обнаружил, и я даже голос услышал — радостным эхом во мне прозвучал.) Был уже 1978 год. Мы уже напечатали первые главы «Блокадной книги», сотни писем блокадников, которых мы не разыскали, теперь через «Новый мир» разыскивали нас. Чтобы добавить что-то, свое сказать или просто добрым словом поблагодарить Даниила Александровича и его «соавтора из Белоруссии». Я снова приехал в Ленинград ранней весной, побыл на Краснопутиловской, на очередной своей квартире, и, как обычно, к метро пошел мимо памятника блокадному Ленинграду. В этот день и памятник был не такой, каким виделся прежде, вдруг как бы заколыхалось, ожило в весеннем воздухе: нереально вытянутые тонкие фигуры женщин, солдат, рабочих, детей — будто сквозь колеблющееся сознание не твое, а блокадника... Доехал до Невского и вдоль наприя-

женно изогнутой Мойки, а потом через горбатый мостик возле дома Пушкина вышел к Зимнему — Эрмитажу, через Дворцовый мост перешел на другой берег Невы, где университет, Архив Академии наук — отсюда начал считать шаги. Какое приблизительно расстояние от Архива до дома, обвешенного черными мемориальными досками, в котором жил, куда и откуда ездил на своем инвалидном «самокате» Георгий Алексеевич Князев?..

У нас был уже его дневник, и мы уже начинали работу над второй частью «Блокадной книги». А вот и сфинксы над самой Невой, которые в дневнике директора академического архива все более оживают, делаются едва ли не главными его собеседниками — по мере того как жизнь вокруг не просто замирает, а вымирает. За широкой Невой огромный купол Сената. Князеву отсюда, из-под коротких дорических колонн его дома, после обстрела показалось, что это расколотый череп!..

Когда я возвращался по Дворцовому мосту, солнце уже было над Финским заливом и, как положено в Ленинграде, — садилось в тучи, на непогоду. Из-за разорванных, с синью и краснотой по краям, облаков вырвались последние лучи и залили растопленным стеклом, зажгли окна вдоль всего берега реки. Людей возле Эрмитажа непривычно мало, мост пустынен, хотя еще и не вечер. Вот здесь я и услышал (или ощутил) тот миг... И понял, что не чужой в этом городе. Не совсем чужой ему. Будто глянул он в мою сторону и даже сказал: «Ну что ж, если так...» <...>

Даниил Гранин

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
«БЛОКАДНОЙ КНИГИ»

Боевое охранение наше стояло рядом с немцами. Было слышно, как они разговаривают, как звякает немецкая посуда. И, когда снайпер попадал в кого-нибудь, — крик, ругань.

С утра над нами проносились немецкие эскадрильи, шли бомбардировщики бомбить город. Мы видели, как там поднимались столбы дыма. Пожары длились долго, и можно было гадать, где примерно что горит. ...Под вечер — вторая бомбежка. А между ними — с мягким шелестом проносились снаряды дальнобойной артиллерии. Мы ничему не могли помешать. Зениток у нас не было. Вначале пробовали стрелять из винтовок, но это, конечно, ничего не давало.

Город за нами страдал. Мы видели, как его уничтожали, обстреливали, и плохо представляли, что творится в самом городе. Вскоре и мы на собственной шкуре почувствовали голод. И у нас начались отечность, дистрофия. Ходили по ночам на «нейтралку», на картофельные и капустные поля, искали картошку, хоть подгнившую, капустные листья.

За время блокады я в городе был раза два или три всего. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молоденький красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил — она дрыгала ногами и подняться не могла. А тут вдруг откуда ни возьмись налетели люди, закутанные во что попало,

с топорами, ножами, принялись кромсать лошадь, вырезать куски из нее. Буквально через минут двадцать остались только кости. Все обглодали.

Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, тропинки между ними — это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город.

Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля, дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже у платяного шкафа дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный Двор был черный от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле.

Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, — какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих, замотанных в какие-то немислимые платки, шарфы, лица, черные от копоти. Не поймешь — мужчина, женщина, старый, молодой. Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завывли сирены, мы продолжали вести этого немца. Встречали безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-то ужаснулся, а они уже без всяких чувств шли мимо человека в немецкой шинели.

Два раза к нам на передовую приезжали концертные бригады из Радиокomiteта. Артистов мы угощали пшенной кашей, поили водкой. Мы видели, как они ели, как откладывали в пластмассовые коробочки кашу. У них был другой голод, чем наш, окопный, которого тоже хватало, что-

бы отправлять время от времени в госпиталь дистрофиков и опухших.

Я считал, что знаю, что такое блокада. Когда ко мне в семьдесят четвертом году приехал Алесь Адамович и предложил писать книгу о блокаде, записывать рассказы блокадников — я отказался. Считал, что про блокаду все известно. Видел фильм «Балтийское небо», читал какие-то рассказы, книги, стихи. Ну что такое блокада? Ну, голод; ну, обстрел; ну, бомбежка; ну, разрушенные дома. Все это известно, ничего нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал. Несколько дней шли эти переговоры. Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы.

Мы даже, по-моему, не записывали, или записали потом, по памяти... Ей было восемнадцать лет... у нее был роман. Любила Федю, своего жениха. Федю взяли в армию, и стояла его часть тоже где-то в районе Шушар. Каким-то образом пробиралась к нему. Носила сухари, варенье, носила домашние вещи: рукавички, шарф. Но главное — как она пробиралась туда. Я знал: заставы наши, патрули не пропускали штатских, гражданских, это строго-настрого было запрещено. Перебежчики могли быть, могли быть шпионы, осведомители. Тем не менее она несколько раз побывала у него, шла шестнадцать километров, добиралась до их части, упрашивала, умаливала эти патрули. И ее пускали. То был удивительный пример любви. Любовь, которая, попав в блокаду, старалась выжить. Ее рассказ меня и тронул, и удивил.

Кроме этого, Адамович уговорил еще к одной блокаднице пожаловать. Короче, я увидел, что существовала во время блокады не известная мне внутрисемейная и внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, трогательных и невероятных. В конце концов я дал согласие.

Мне все это было странно, поскольку никогда не работал вдвоем, и еще — Адамович не ленинградец. Он белорус. Прощел войну совсем не такую, как я. Партизанскую,

в этом заключалась разница наших представлений о войне, о фронте. Но, как потом выяснилось, это имело и свои преимущества. Его наивный и совершенно свежий взгляд на Ленинград, на ленинградскую жизнь, вообще на жизнь большого города, помогал ему увидеть то, что для меня давно стерлось.

Так мы начали вместе работать. Блокадники передавали нас друг другу. Тогда блокадников было много. Это были семидесятые годы; середина — конец семидесятых годов. Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом разделились, чтобы охватить больше людей. Почему нам было нужно больше людей? Да потому, что оказалось, у каждого есть свой рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному... Мы набрали сто рассказов, и ничего не повторилось. Посмотрели эти сто рассказов и поняли, что у нас есть какие-то пробелы. Тогда мы начали писать порознь.

Как шла работа. Тоже интересно. Приходили мы — а блокадники, большей частью, не хотели ничего рассказывать. Не хотели возвращаться в ту зиму, в те блокадные годы, в голод, в загаженную квартиру, в свое первобытное состояние. Ни за что!.. Потом соглашались. Как правило, не было ни одного случая, чтобы нам отказали наотрез. Иногда мы уходили, а они потом звонили нам и приглашали. Мы не сразу поняли, в чем тут дело.

У людей скопилась потребность рассказать, чтобы освободиться. Женщина пыталась некогда рассказать об этом своим детям, соседям, внукам, родным, — ее не слушали. Не хотели слушать. Когда приходили мы, писатели, с магнитофоном и она начинала рассказ, они собирались вокруг и слушали совершенно по-новому: как мы, как посторонние люди. Часто — слышали впервые о том, что происходило в этой квартире, что происходило с матерью, что происходило в этой семье. Рыдали, плакали.

Такие рассказы — если переводить их с пленки на бумагу, занимали двадцать-тридцать страниц.

Для расшифровки нужны были стенографистки. Особые стенографистки, потому что нам важно было не просто содержание, надо было сохранить оттенки устной речи. Таких стенографисток почти уже не осталось в городе. Но мы нашли. Двух блокадниц: Нину Ильиничну и Софью, забыл ее отчество, к сожалению. Обе были блокадницы. Когда они послушали несколько кассет, заявили, что будут бесплатно все делать. Мы не могли пойти на это, потому что это была — адская работа. Приходилось каждую кассету прогонять несколько раз, чтобы уловить все оттенки устной речи, все эти «э», «мм», вычистить мусорные словечки. Обе работали самоотверженно. Если б не они, у нас книга получилась бы беднее. Они помогли нам сохранить прелесть, естественную корявость рассказов. И получались личностные рассказы, а не просто стенографическая запись.

Многое решал талант рассказчика. Лучше всего рассказывали женщины. Женская память устроена несколько иначе, чем мужская. Ведь мужская память — она глобальна: мужчин общие ситуации больше интересуют. А подробности быта, бытия, что творилось на малом участке: очередь, булочная, квартира, соседи, лестница, кладбище, — это память... женская. Она была более красочная и крепкая. Примерно из десяти рассказов один, как правило, гениальный; два-три рассказа — талантливых, очень интересных. Но даже из невнятных, косноязычных рассказов все равно всплывали детали и подробности впечатляющие.

Конечно, прошло тридцать лет. С сорок пятого, допустим, по семьдесят пятый год. Память была засорена стереотипами кинофильмов, телевизионных передач, прочитанных книг. Все это приходилось отсеивать и добираться до личного. Личное было неповторимо.

Мы набрали двести рассказов. Двести — это примерно четыре тысячи страниц, решили на этом кончить, иначе захлебнемся в материале. Но это была четверть работы, сразу возник вопрос: что же это будет за книга? Это ж не коллаж, не просто сборник воспоминаний. Это должна быть книга, где есть сюжет, есть развитие этого сюжета, где есть какая-то наша сверхзадача. О чем? Для чего? Для кого?

Собственно говоря, с половины работы мы поняли, что напечатать эту книгу будет почти невозможно. Существовал к тому времени устоявшийся, окаменелый стереотип идеологии блокады. Блокада — героическая эпопея. Она воплощение подвига ленинградцев, которые не сдали город. Девятьсот дней блокады. Единственный город в истории Второй мировой войны, в истории нашей Великой Отечественной войны, который выдержал осаду. На Нюрнбергском процессе было зафиксировано, что погибли шестьсот шестьдесят тысяч горожан. Мы вскоре поняли, что эта цифра преуменьшена значительно. А главное — что дело не в героизме. В конце концов, для многих это был вынужденный героизм. Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где совершались невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, обстрелом.

Это была эпопея страданий человеческих. Это была история не девятист дней подвига, а девятист дней невыносимых мучений. Что, конечно, не соответствовало пафосу героизма, того, что прочно вошел в историю Великой Отечественной войны. Тем не менее мы продолжали работу.

О чем же эта книга? Мы решили, что эта книга, во-первых, — об интеллигенции и об интеллигентности. Ленинград — город, который отличался высокой культурой, интеллектом, интеллигенцией своей, духовной жизнью. Мы хотели показать, как люди, которые были воспитаны этой культурой, смогли оставаться людьми, выстоять.

Второе, что мы хотели, — показать пределы человека, пределы его страданий. Мы сами не представляли себе возможностей человека. Человека, который не просто отстаивает свою жизнь, люди эти чувствовали себя участком фронта. Люди понимали, что до тех пор, пока город живой, он может отстаивать себя.

Мы хотели рассказать о том, что такое духовная пища. В общем, постепенно сформировались какие-то темы, которые мы обязательно хотели на собранном материале раскрыть. Просто открыть людям. Мы увидели, что этот

материал — уникальный, совершенно особый, нигде в литературе не освещенный. Потому что одно дело — концентрационные лагеря, голод на Украине, голод в Молдавии, другое — блокада. Здесь ужас войны, который настигает мирных людей. Ужас фашизма. Город должен был вымереть по плану немецкого командования. Это была тоже единственная в истории мировых войн операция.

Так начала складываться эта книга. Мы ее писали, не позволяя себе печатать отрывков.

Не то чтобы мы писали ее втайне, но мы никак не оповещали о ней, чтобы не осложнить издание. Эта книга не годилась для того, чтобы ее писать «в стол». Мы застали уже последнюю возможность создания этой книги. Потому что блокадники уходили из жизни. Мы увидели, в каких ужасных условиях они жили. Так сложилось, что этим людям, которые столько перетерпели, — именно им хуже всех досталось после войны. Они остались в тех же самых жилищных условиях. Надо было вербовать строителей, восстанавливать город. Им давали в первую очередь жилье. Блокадники жили ужасно, и мы хотели хотя бы этой книгой помочь восстановить уважение к ним и понимание того, что они заслуживают большего внимания и льгот.

Поскольку вместе мы писать не привыкли, Адамович писал — присылал мне. Я все перечеркивал и писал ему, что написано отвратительно и никуда не годится. Присылал ему свой вариант, он тоже говорил: плохо, куда это? Что это? Кому это? Совсем не то, что мы хотели. И вот так, с руганью, с раздираньем этих рукописей, с выбрасыванием, ссорами... постепенно начали продвигаться к окончательному варианту. Эта работа продолжалась долго — года три, может, и больше. Не помню точно, потому что он в это время своими делами занимался, я тоже свое писал. Тем не менее книга постепенно нас захватывала все больше, и в конце концов мы полностью включились в эту работу.

Когда кончили первую часть, мы попытались напечатать ее в ленинградских журналах. Нам сразу же вернули ее. Даже и объяснять не стали. Мы поняли, что в Ленинграде напечатать это невозможно. Ни одно издательство не

брало: «идеологически вредно». Поехали в Москву, решили обратиться в лучший журнал того времени, да и сейчас он, возможно, остается одним из лучших — в «Новый мир». Нам помогло то, что главный редактор Сергей Наровчатов — был фронтовик и воевал на Ленинградском фронте. Диана Тевекелян ведала прозой. Они прочли и решили взять это, прекрасно понимая, как трудно будет. Действительно, номер с первой частью попал в цензуру, цензура сразу попросила всю рукопись и выдала нам шестьдесят пять изъятий, замечаний, требований. Были некоторые, абсурдные на наш взгляд, требования. Что не устраивало цензуру? Во-первых, малейшее упоминание о людоедстве. О мародерстве. О каких-то злоупотреблениях с карточками. О том, что в голоде был отчасти виновен... виновны власти. О Жданове наши нелицеприятные высказывания. Ну, было, например, такое, о чем сразу донесли Сулову. Баня. Где-то в феврале в Питере открылась первая баня. По-моему, на Мытнинской. И по этому поводу было несколько рассказов людей, которые попали в баню. Топлива не было, и топили только одно отделение, где мылись мужчины и женщины вместе. Но это были не мужчины и не женщины. Это были просто скелеты, которые помогали друг другу, потому что поднять шайку с водой не могли. Об этом было запрещено категорически упоминать как о порнографии. Хотя то был пример целомудренных отношений людей, блокадников... Ну, вот такого рода замечания.

Надо сказать, что с помощью «Нового мира», Дианы Тевекелян, Сергея Наровчатова мы кое-что отстояли, но частично — пришлось смириться.

Книга эта вышла и вызвала, с одной стороны — возмущение историков партийных, они считали, что мы «разрушаем героический образ Ленинградской эпопеи». С другой стороны — последовали сотни и сотни писем блокадников, которые посылали свои рассказы, чтобы дополнить, некоторые требовали от нас большей правды, говорили о том, что мы приукрашиваем, были вещи куда страшнее, и так далее.

Книга эта была для нас цепью открытий. Мы увидели, что люди во время блокады относились друг к другу гораздо

более сердечно, гуманно и милосердно, чем тогда, в конце семидесятых годов. Что ныне происходит процесс дегуманизации людей, очерствения, бессердечия; блокада в этом смысле пример того, как в тех страшных условиях люди не позволяли себе эгоизма, который и в семидесятые, и вплоть до нынешнего времени позволяют себе.

Главным редактором издательства «Советский писатель», Ленинградского отделения, был Кондрашов Георгий Филимонович — бывший секретарь горкома партии. Городское секретарство вошло ему в плоть и кровь. Когда он получил нашу рукопись, то немедленно понес ее в обком партии. Два писателя именитых; так просто от них отказаться и запретить невозможно, нужны были какие-то ссылки, обоснование. Не знаю точно, но думаю, что эту рукопись или доклад об этой рукописи передали вплоть до первого секретаря обкома. И оттуда пришло следующее: «Вы развенчиваете подвиг Ленинграда; ваше дело — не страдания людей, а их мужество и стойкость, а вы смакуете ужасы». Таким образом, эта как бы резолюция обкома партии стала известной, конечно, дальше никакой речи об издании в Ленинграде уже и быть не могло.

Но мы к такому были готовы и пошли к Н. Лесючевскому — директору издательства «Советский писатель» в Москве, считая, что в этом смысле Москва более либеральная и свободная, чем наш Питер. Однако Лесючевскому уже доложили, что Ленинград категорически против этого издания. У нас были тяжелые разговоры с Лесючевским. Он сам — бывший ленинградец, блокадник — втайне, может, нам и сочувствовал. Но и он тоже нам отказал. Вот тогда уже началась битва. Когда напечатали в журнале первую, а затем и вторую часть, когда посыпались сотни писем, когда появились положительные рецензии в московских газетах... Вышла книга уже вторым изданием, третьим изданием, ни в одной ленинградской газете не было ни разу рецензии на нее. Вот что значила тогда диктатура обкома партии. Эта книга была, видимо, воспринята как подрывная работа по отношению к фильму «Блокада» по роману А. Чаковского. Вообще, книга Чаковского была принята как образец.

«Так мы будем преподносить блокаду. Так мы ее переведем на экран. Так она соответствует нашему пониманию того, что было здесь девятьсот дней. И никаких отступлений от этого не будет! А ваша работа — подрывная по отношению к фильму, который преподносился в союзе со всеми идеологическими организациями».

А мы посреди работы заболели.

Когда работали, мы друг друга поддерживали уверенностью в том, что никаких запретных вещей для литературы не существует. И нас «поддерживали» в этом смысле Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и другие собратья и коллеги. Нет ничего запретного в литературе! Обо всем можно рассказать!

Так-то так, но мы столкнулись со столь страшными рассказами, — даже сегодня, сейчас не все можно рассказать. Мы, конечно, записывали, но это было невыносимо. И эту невыносимость, этот натурализм жизни блокадной оказалось преподносить читателю невозможно, есть какие-то пределы и в литературе.

Например, как один летчик, которого подбили, вернулся в свою семью уже инвалидом... как он страдал от голода и как собирал... вшей с себя и с детей. Сбирал вшей и ел их. Геройский летчик. При голоде люди теряли человеческий облик.

Наслушавшись этих рассказов, этих рыданий, истерик и слез, заболел Алесь Адамович. Он слег здесь, в больнице, в Ленинграде, нервная болезнь. Потом слег я. Потому что одно дело — один рассказ послушать, а если за ним — другой, третий, десятый, и все это воспринимать... невыносимо.

Почему Алесь выбрал меня? В Москве мы иногда встречались на каких-то писательских форумах. Тогда очень явно шло расслоение людей: это наши, это — не наши. Это свои люди, это — не свои. Ну, свои хотя бы потому, что фронтовики, а еще потому свои, что были авторами «Нового мира». Свои и оттого, что придерживались одних и тех же взглядов. Однажды мне позвонили из «Нового мира» и попросили написать рецензию на его повесть. По-моему,

это была его лучшая книга — «Хатынская повесть». И я написал большую рецензию. С тех пор у нас дружба очно-заочная повелась. Когда он позвонил из Минска и сказал, что хочет приехать повидаться со мной, я ответил: приезжай, конечно. Он хитрый был человек. Сельская хитрость в нем была. Приехал и начал меня уговаривать.

Откуда у него вообще возникла идея такой книги? Она у него возникла из предыдущей работы, которая называлась «Я из огненной деревни...», ее он писал вместе с белорусскими писателями — Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Они опрашивали людей, которые во время войны в Белоруссии спаслись из истребленных деревень, сумели сбежать, записали их рассказы. Это тоже тяжелые, страшные рассказы. Книга имела успех в Белоруссии, была переведена на русский язык и за границей. Эта работа воодушевила Алеся. И ему пришло в голову: давай сделаем то же самое на ленинградском блокадном материале.

Глава «Ленинградское дело» предназначалась для «Блокадной книги». Вставить ее в первое издание нам с Алесем Адамовичем не удалось. Издатели, цензура отвергали все наши попытки. Между тем без этой главы многое в судьбе послевоенного города, в судьбе блокадников, да и в истории блокады, было непонятно. «Ленинградское дело» до сих пор остается одной из самых загадочных страниц послевоенной жизни страны. Документы, связанные с этим делом, были уничтожены, очевидно, сразу после смерти Сталина, лично Берией и Маленковым. Версии историков так или иначе сводятся к борьбе за власть: группа Берия — Маленков хотела убрать Вознесенского и Кузнецова как конкурентов, поскольку Сталин однажды назвал Вознесенского своим преемником. Кузнецова Берия опасался — Кузнецову поручено было курировать работу НКВД, вряд ли это устраивало других членов Политбюро. Раздражало влияние ленинградской группы. На фоне тогдашнего Политбюро они отличались образованием, культурой и обрели славу спасителей города. История партии знает немало процессов над всякого рода оппозициями. Особенность «Ленинградского дела» в том, что репрессиям подвергали людей, безуслов-

но преданных лично Сталину, партии, опытных руководителей, проверенных войной, блокадой. Уничтожили всю ленинградскую верхушку, снимали слой за слоем. Я работал тогда в Ленэнерго. У нас управляющим Ленэнерго был Борис Страупе. В условиях блокады он сумел обеспечить энергией оборонные заводы, Смольный. Он тоже исчез. Погиб начальник кабельной сети города М. Грознов. За что, почему — никто не пояснял. Исчезали один за другим, их даже не называли, как прежде, «врагами народа», просто участники «Ленинградского дела». Говорили — за связь, за знакомство с Попковым, с Капустиным, то есть с секретарями горкома, обкома. Нелепые формулировки не позволяли обсуждать. Неизвестно, сколько людей поглотили это дело, сколько было арестовано, сколько погибло в лагерях. Машина уничтожения никак не могла остановиться. Работала она бестолково, но ожесточенно. Казалось, расправляются с городом, с Ленинградом, давно уже, со времен зиновьевской оппозиции, ненавистной Сталину. Среди обвинений ленинградским руководителям существовало одно, затаенное, публично не высказанное: «противопоставляется геройство ленинградское столичному, московскому». После войны много разговоров было о том, как вело себя в критические дни московское начальство, про панику в октябре 1941 года, сравнивали с ленинградскими начальниками. Слава города-героя на Неве подняла репутацию Попкова, Кузнецова и прочих. Их заслуги, воздаваемый им почет раздражали членов Политбюро, вроде бы накладывали тень на руководство партии. Одно дело — военачальники, полководцы, и совсем другое — гражданские, партийные деятели. Забирают себе какую-то часть славы вождя. Вождь есть один, и члены Политбюро, которые все равны, а за ними следуют остальные функционеры. Иерархия соблюдалась жестко. Конечно, ни Попков, ни Кузнецов, ни другие ленинградцы сами не претендовали на отдельную славу, их вознесло народное мнение, оно сравнивало и отдавало им предпочтение!

Одним из тех, кого я записывал, собирая материалы для «Блокадной книги», был А. Н. Косыгин — председатель

Совета Министров. Во время блокады он был отправлен Сталиным в Ленинград уполномоченным Государственного Комитета Обороны. Историю довольно занятную, даже драматичную, нашего свидания с ним я описал в рассказе «Запретная глава». Она не вошла в «Блокадную книгу»: цензура не допустила. Позже я опубликовал ее отдельно. Был в нашем разговоре с ним один момент, который я не осмыслил. Возможно, если бы мы были у Косыгина с А. Адамовичем, моим соавтором, смысл этого эпизода мы бы со-обща выявили... К сожалению, Косыгин согласился принять меня одного. И только нынче, перечитывая записи нашего разговора, я обратил внимание на то, как Косыгин вроде бы случайно вспомнил октябрьские дни 1941 года, когда немецкая армия вплотную приблизилась к Москве. Правительство переехало в Куйбышев. Сталин был в Москве. Но кремлевские кабинеты опустели. Повсюду звонили телефоны, Косыгин переходил из кабинета в кабинет, брал трубку, отвечал, чтобы показать — Кремль работает. Это было 16 октября. В его рассказе о блокаде эта история показалась мне случайным отклонением. Но Косыгин был достаточно искусственным политиком, думается, он хотел таким образом подвести к сравнению обоих городов в критические моменты войны. Сравнение было не в пользу Москвы, и поскольку это в те годы широко обсуждалось, следовало, очевидно, сбить гонор с ленинградцев. Об этих скрытых мотивах «Ленинградского дела», очевидно, и хотел напомнить Косыгин, вряд ли об этом эпизоде он завел речь случайно. Ни «Ленинградское дело», ни последующая жизнь народа не вызывали никаких мотивов протеста, не было ни оппозиции, ни противостояния, ни критики сталинского режима, большевистской идеологии, ни последующих режимов коммунистических правителей. Вполне послушный, благонамеренный город. В этом отношении столица отличалась куда большим свободолобием. Ленинградские художники вынуждены были искать защиты от местных ревнителей порядка в Москве, в том же ЦК уже понимали всю абсурдность стараний питерских угодников.

Не знаю, читал ли Романов «Блокадную книгу». Он в то

время был первым секретарем Ленинградского обкома партии. Нынче приходится пояснять, кто такой Романов, да и остальные члены Политбюро. Насколько я знаю, Романову доложили о том, что написано в «Блокадной книге». О том, какие ужасы голода, какие муки терпели горожане. Романов возмутился: зачем, для чего, что они делают, эти авторы? Авторы покушаются на героизм, на стойкость, на значение подвига ленинградцев. Такая книга нам не нужна.

Впервые в Ленинграде «Блокадная книга» была напечатана в 1984 году, уже после того, как Романов был переведен на работу в Москву.

Искательство, перестраховка стали «Ленинградским синдромом». Город был изуродован страхом. И все же в сокровенных своих глубинах он хранил память о блокадном свободомыслии, он должен был возродиться, вернуться к своему европейскому предназначению, которое определили ему два великих россиянина — Петр и Пушкин.

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ДАНИИЛ ГРАНИН

БЛОКАДНАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТОЛЬКО МЫ САМИ ЗНАЕМ...

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло... Забывается все...»

Ленинградские дома, квартиры блокадников...

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке (старинном, лепном), осколков стекла на глянце пианино. Пятно-ожог от «буржуйки» на блестящем паркете...

«А здесь паркет испорчен — это мой муж в последнее время колол мебель. Пока он не умер на этом вот диване. Вот здесь...» (*Ден Александра Борисовна*)¹.

«Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас... Ипподром. Чуть налево, если высунуться из любого окна, — Обуховская больница, а вправо — газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады...» (*Пенкина Нина Вячеславовна*).

¹ Здесь и далее примечания авторов.

«Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла „буржуйка“. Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь „буржуйка“ стояла...» (*Усова Лидия Сергеевна*).

Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит: «Уничтожу их — война начнется!»

Бабич Майя Яновна вспоминает и показывает:

«В блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы, и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все и сгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром, турецкий ковер ручной работы. Потом матрац прислонили к одному окну... Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах...»

...Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет, как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью...

И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать...

«Столько лет прошло, забывается все...»

Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, — имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел...

Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «Ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят...

Понять и унести безжалостную быль «ленинградской памяти» легче, если видишь этих людей — самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.

Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим... и еще более поразительным.

Например поражает и бесконечно трогает — сколько их, бывших блокадников, писали и пишут... стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. (Даже тогда писали. Например в 1943-м женщина посылает письма-стихи на Большую землю, а ей отвечает, тоже стихами, эвакуированная ленинградка-племянница...) Что это — влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было: голод, блокада и стихи (об этом же) — и все рядом? Он их слышал, слушал по радио, жадно, как никогда до этого, — стихи Ольги Берггольц (да и не только ее).

Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем — понимание почти

каждым (поразительно!), что это были исторические дни¹ и ночи, сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город был, и это надо понять, силен своим одиночеством, к нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны. Неслышанные жертвы, невысказанные испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены чувством гордости, поэтическим чувством: зато Ленинград устоял! Мы выстояли! Жизнь продолжается!

...Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй, необоримый год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.
...В те дни отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие...

Ольга Берггольц

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы поэтически увидеть прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная,

¹ Здесь и далее разрядка, а также примечания — авторов.

поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот...» (*Петрова Анна Алексеевна*, ул. Бассейная, 74, корп. 1).

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невиской твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв...», «Дядя Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая в 7.30 утра...», «Умерли все. Осталась одна Таня».

В драгоценно-подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической Ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить Дорогу жизни. Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф... Книга об ученых Ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг О. Берггольц, Н. Тихонова, В. Инбер, Вс. Вишневского, А. Фадеева... Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы, и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история Ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие и неработавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведено душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал... Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека...

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей...

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

В морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций уз-

наваемый всеми радиоголос Ольги Берггольц говорил ленинградцам и от их имени:

«Только мы сами знаем, какого отдыха мы все заслужили»; «И Ленинград щадил ее (Родину), мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки...»; «Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь...».

Это говорилось в 1942-м, в 1943-м, в 1945-м.

Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом.

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что «пришло время», «люди хотят знать», «людям надо...».

Будоража их все еще воспаленную болью и утратами души, мы не раз спрашивали себя: а надо ли, а имеем ли право? Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них — в тексте, в интонации — звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было бы думать, что такое никому не нужно, кроме нас самих.

А ведь действительно, если все это было на планете — тот блокадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей, — то память об этом должна служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку обороны Ленинграда стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме девятисот дней. Один из создателей музея, *Василий Пантелеймонович Ковалев*, наизусть помнит все экспонаты, он рассказывает так, словно ведет нас из зала в зал: вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в сорок первом году, а вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых, дальше — несколько залов партизанского движения...

Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который, бережно сохраняемый, выставлен ныне в центре мемориала

ла Пискаревского кладбища. Записки девочки (она погибла в 1945 году в эвакуации) стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю. «Принес его Лев Львович Раков, директор музея, — рассказывал нам В. Ковалев. — Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением: потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы, и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием Дороги жизни, начал возрастать. Посреди музея стояла витрина из старого музея Ленинграда, с одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный, с другой стороны лежали ордена погибших в блокаду, в том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский.

Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната — дневника Савичевой, стояла около витрины, и на глазах были слезы, когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр. Он был в музее вместе с Жуковым. Буденный долго стоял, Калинин. (Кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке.) ...»

...Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников, тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты, — что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой, без авторской, работы материал сам себя похоронит; кто и когда это прочтет?

А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали — мы записывали. Они передали нам свои дневники, свои записки-воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство.

Читателю конечно же нужны, интересны прежде всего те, кто сам все это пережил, люди-свидетели, люди-документы. Мы это сознавали, да и поневоле немеешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах «Блокадной книги». У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин — одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза — на боль и слезу, гордость, что все же выстояли, — на гордость... Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить... Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и «неправильность» рассказа, «голоса» в ущерб любым литературным соображениям. Литература (и хорошая) уже была. И еще будет. Всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности. Но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадная — ее языком и «стилем». Поэтому мы просим принять неправильности и повороты живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные «разрывы» житейских и семейных судеб...

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания — они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе — голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями, и тут же активность людей, то, что они делали,

как боролись, несмотря ни на что. Три эти стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе три эти части не расчленены. Разъединять цельное повествование трудно. Потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались воедино и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба, там были и фронт, и эвакуация, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, связанного чувством и настроением изложения приходилось брать, выдирать один какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывное. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от него. Было обидно обходить бойцов Ленинградского фронта, которые несли тяготы голода, не имели сил прорвать блокаду, освободить город, но в то же время не пустили фашистов в город, не позволили им снять войска из-под Ленинграда для других фронтов. Не только враг держал город в блокаде, но и голодные, малочисленные армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у стен Ленинграда.

Один за другим — ударами Синявинской операции и на Московской Дубровке — срывались немецкие планы захвата города Ленина. Всего не объять: у этой части книги своя тема.

Блокадная книга составлена из записей, рассказов нескольких сотен человек. Мы не могли упомянуть всех, кого записали, не могли использовать всего собранного материала. Но все равно так или иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе. Мы начали с переживаний, может, наиболее заповедных, к которым память рассказывающих (всех) прикасается осторожно, с особой болью и трепетностью, но устремлена она в ту сторону обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы, бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42 года и весна 1942 года. С этого приходится начинать. Надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига.